

Владимир Александрович ШКУРАТОВ**МОБИЛИЗАЦИЯ НЕВРОТИЗАЦИИ:
К АНАЛИЗУ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ****АННОТАЦИЯ**

Ново-новейшая история России представлена как опыт преобразования хрестоматийной схемы психических инстанций «Сверх-Я – Я – Оно» в социополитический чётреж основных сил российского общества XIX–XX вв.: власти, интеллигенции и народа. Обсуждается эпистемологический аспект приложения интрапсихических схем к историческому материалу. От метапсихологии З. Фрейда автор переходит к обсуждению лакановской перспективы руссиеведческих исследований. При этом он ссылается на понимание циклов российской истории в ракурсе исторической психологии. Лаконовская триада реального-символического-воображаемого корректируется этнологическими выкладками М. Годелье. Делается вывод, что российский материал в целом созвучен лакановским построениям, поскольку находится в сходном градусе олитературенного риторизма, но производится в особом социально-политическом режиме. Кризисные, критические сценарии развития требуют определения страны как Реального в экстренном порядке. Попытки разобраться в том, что происходит, и найти выход из катастрофы мобилизуют мыслительные навыки интеллигенции, прибывающей в перманентном неврозе «вечных вопросов».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: З. Фрейд, психические инстанции, Ж. Лакан, реальное-символическое-воображаемое, российская история, власть-интеллигенция-народ, М. Годелье, культура папуасов, социально-политический режим исполнения психоаналитических схематизмов в России, С. Жижек, неврозы, мобилизация.

ABSTRACT

The new-recent history of Russia is presented in this article as an experience of transforming the textbook scheme of mental instances “SuperEgo – Ego – Id” into a sociopolitical blueprint of the main forces of Russian society in the 19th-20th centuries: the authorities, the intelligentsia and the people. The epistemological aspect of the application of intrapsychic schemes to historical material is discussed. From the metapsychology of S. Freud the author proceeds to discuss the Lacanian perspective of Russian studies.

KEY WORDS: S. Freud, Psychic instances, J. Lacan, real-symbolic-imaginary, Russian history, power-intelligentsia-people, M. Godelier, the culture of the Papuans, socio-political regime of execution of psychoanalytic schematisms in Russia, S. Zizek, neuroses, mobilization.

Автору этой статьи уже доводилось применять к материалу отечественной истории популярного З. Фрейда. Элементарных сведений о психоанализе вместе с основными фактами о российском прошлом достаточно, чтобы обнаружить: хрестоматийная схема психических инстанций «Сверх-Я – Я – Оно» довольно легко преобразуется в социополитический чётреж основных сил российского общества XIX–XX вв. Сверх-Я – это власть, Оно – народ, а Я – зажатая между ними интеллигенция [5], [6], [8]. Предметом анализа у меня выступало Я, т.е. интеллигенция, однако квазифрейдистское построение проходило и как макроисторическое объяснение хода исторического процесса в России.

Приложение интрапсихических схем к историческому материалу с некоторого времени стало популярным, если не сказать модным. Однако оно оставляет открытым вопрос: является ли это чем-то большим, чем простая аналогия? В отношении фрейдовских инстанций я думаю, ответ положителен.

Во-первых, создатель психоанализа мыслил исходное отношение между влечением и запретом как властное. Запрет не оканчивается отменой действия, он длится внутри психики как репрессия. Политико-юридическая терминология – запрет, репрессия, конфликт – в учении о бессознательном не случайна. Стоит к метафорической энергетике либидо приписать фигуру Авторитета, как возникает концепция общественно-политической власти над эросом.

Во-вторых, нетрудно найти содержательное соответствие между «Оно», этим бурлящим котлом витальных потребностей, природно-необходимым в нашем существе, и привлекательно-пугающим народом интеллигентских устремлений, между социальной цензурой Сверх-Я и карающей властью; наконец, раздираемое двумя могущественными инстанциями Я – это сама интеллигенция, описанная вполне прозрачно. Садомазохистское самоедство не есть ли рефлексивный аналог этой психосоциальной раздвоенности?

В-третьих, фрейдовская метапсихология неотъемлема от языка, который высвечивает тёмную подпочву человеческого существа и смягчает властные императивы нормы. Психоанализ есть попытка обозначить и понять работу речи между терапевтом и пациентом, особый язык, включающий научный жаргон, медико-клинические термины, символизмы грёз и сновидений, социально-юридические понятия, образы мифа и трагедии. Из этого конгломерата формируется лингвистический

инструментарий для проникновения в бессознательное и укоренения Я в промежуточном пространстве между психическими антиподами. Не так ли трактуется и функция интеллигенции, просветительски-языковая и посредническая? Корень всех сходств – в природе знаково-письменного механизма, схваченного в момент напряжения всей системы. Описание агента сигнификативного действия – оперирует ли он в обществе или в психике – дает сходные результаты. Рефлексивный поворот агента на себя ведет его к выпадению из системы, точнее, к представлению внешних отношений как гомологически снятых, внутренних.

Применяя Ж. Лакана

Предложение подключить к руссиеведческим упражнениям ещё и Лакана означает для меня углубление в рефлексивные процессы интеллигентского сознания. Кроме того, чтение российской истории через Лакана, наверное, хорошая проповедь к критике интеллигентского сознания, о которой автор давно думает. Лакан для этого не худший кандидат и, возможно, лучший, чем Кант. Можно, конечно, вообразить «Критику интеллигентского разума», которая по следам "Kritik der reinen Vernunft", определит антиномии интеллигентской мысли в границах философской логики. Однако стоит помнить, что интеллигенция в России – это социальный разум («практический» в кантовской терминологии), который присваивает себе прерогативы научного мышления, и в качестве такового довольно безразлична к логическим противоречиям. Зато диагностика комплексов и неврозов совпадает с наклоном образованной российской прослойки к самоедству. При этом внутренний диагноз интеллигентской мысли желательно совместить с анализом продукции. А таковой является мирокартинка России XIX–XX вв. Никуда не уйдёшь от того, что её основные фигуры и композиция в целом нарисованы нашим образованным сословием. Не составляет исключение и та часть панорамы, которая называется «провинция».

К тому же, по своей идейной генеалогии Лакан ближе российской мыслящей прослойке, чем его венский учитель. Во-первых, увлекался Гегелем. Во-вторых, представил психику как своего рода литературно-языковую деятельность по написанию текстов. Реформатор и создатель психоанализа по-французски провозгласил возвращение к зрелому Фрейдю 1900–1915 гг., ещё не придумавшему схему из трёх инстанций и оперирующему на сдвоенном регистре «сознательное-бессознательное». Тем не менее, Лакан сочинил свою триаду «реальное – символическое – воображаемое», по отношению к которой популярная вертикальная модель разве что эмблематична. Мэтр элегантно набрасывает сквозные

образы места и героя своих аналитических скитаний в конце «Ecrits» с помощью аллюзии платоновской пещеры: «Предполагаемое место – это вход в пещеру, при взгляде на который известно, что Платон ведёт нас к выходу, тогда как воображают увидеть, как вошёл психоаналитик. Но дело не так просто, потому что это вход, к которому прибывают только в момент, когда он закрыт (это место совсем не для туристов), и единственный способ его приоткрыть – позвать изнутри» [11, р. 838]. Лакановский пациент, решившийся на курс осознания, должен иметь смелость замуроваться внутри пещеры бессознательного, не уповая на то, что оттуда его кто-то выведет. Гарантии не даются, потому что язык терапевтического дискурса сам подвержен превратностям цензур и вытеснений. Лакановский субъект создается из материалов зеркального расщепления его образа, отданного на волю языка. Реальностью же является написанное. Более того, все лакановские понятия имеют смысл только внутри этого процесса письма. Как замечает М. Боуи, «никакое их значение не может быть полным без того, чтобы сказать что-то о способах, которыми они приспособляются к изменяющимся потребностям аргументации в пределах её глубокого укорененного повествовательного изъяснения» [9, р. 105]. Лакановский субъект инкапсулирован в процессуальности языка вместе со всеми своими тремя инстанциями, хотя формально он должен бы соответствовать только одной из них – Я. «Я, впервые промелькнувшее на зеркальной стадии, есть реифицированный продукт последовательных воображаемых идентификаций, Я хранится как стабильная или якобы стабильная персональная «идентичность»; субъект же – совсем не вещь и может быть уловлен только как набор изменчивых напряжений или диалектических превращений внутри последовательных, интенциональных, ориентированных к будущему процессов. Лакан с подозрением относится к топографическому фрейдовскому Я, которое между Сверх-Я и Оно вынуждено постоянно фиксироваться и служить объектом манипуляций со стороны социальных инженеров. Главное для Лакана не Я, а субъект, который хотя не пропадает, как однажды оброненная фраза, но имеет свои разнообразные траектории, обозначенные и переобозначенные им» [9, р. 114]. В переписанной под сосюрговскую лингвистику текстуре психоаналитической речи субъект – это связка между означающими. «Означающее – вот что представляет субъект для другого означающего» [11, р. 819]. Психическая триада по Лакану, будучи вмонтированной в промежуточную фрейдовскую инстанцию, в Я, десексуализирована и дебиологизирована, но зато олитературена и производит с помощью бинарных оппозиций языка «лаканизмы» – уже вошедший во французскую словесность жанр парадоксального интеллектуального высказывания.

Немало уже было сказано про то, что Лакан – это один из гуру послевоенной французской интеллигенции, на глазах которой гуманитарная скриптура возвыси-

лась в статусе до онтологии и, что немаловажно, до интеллектуального экспортного продукта с мировым спросом. Лакановское «Реальное» – это социокультурный универсум умственного класса Франции XX в., героем и легендой которого Лакан является наряду с Сартром, Леви-Стросом, Фуко, Дерридой, Бодрийяром. В дискуссиях вокруг культурно-политической природы лакановского феномена определения разделялись между суждениями «квазирелигиозная секта» и «своего рода беллетристика»: «психоаналитики – это своего рода нувориши в области беллетристики и высокого интеллектуализма: они «устали» от своей трудной профессии и стыдятся честного ремесла – лечить людей; они ищут более респектабельных форм самоосмысления и самовыражения. Психоаналитику более импонирует роль изгоя, отверженного, чья социальная миссия заключается в разрушении системы, в которую он оказался включённым, либо, что гораздо характернее, роль творца в сфере изящной словесности, или беллетриста (тем более, что повседневное общение с гениальным творцом – бессознательным – даёт много яркого материала). Вопрос только в том, в каких формах словесности следовало бы запечатлеть речь бессознательного: во всяком случае романический жанр, наиболее часто используемый психоаналитиками для этого не подходит, ибо никакой сон, никакой фантазм не рассказывается в столь ритуализированной и конвенциональной форме...Психоаналитик вместе с учёным и литератором путешествует по той пограничной области, которая отделяет в любом обществе норму от патологии. Все трое становятся контрабандистами, которые перевозят социально опасный, запрещённый товар, находя те или социально приемлемые формы его размещения. Бок о бок с учёным и с литератором работает и психоаналитик, который перевозит чужие слова и мысли в языке бессознательного и затем расшифровывает их» [1, с. 120–121]. Эта длинная цитата – пересказ книги ученицы Лакана, и она об очень удачном случае превращения самовыражения в аналитический разрез целого культурного цикла.

Полагаю, сказанного достаточно, чтобы оправдать особый ракурс в применении лакановских построений. Однако возникает вопрос об их универсальности. Лакановский субъект пишет свою реальность как представитель свободной умственной профессии и с той самодостаточностью, которую доставляет ему убеждённость в том, что Латинский квартал – это интеллектуальный центр мира и расходящиеся оттуда идеи применимы ко всякому мыслящему существу. Российское *cogito* пишет свои тексты применительно к России и о России.

Российский габитус

Французский этнолог М. Годелье подверг критике схему Лакана с позиций исследователя и знатока конкретной культуры. Он провёл много лет в Новой Гвинее, среди людей каменного века, ставших известными остальному миру только в середине прошлого столетия. Этнолог обнаружил, что Реальное, которое, по Лакану, непостижимо, у туземцев, наоборот, вполне постижимо. Это – тело, точнее два тела – мужское и женское.

Этнолог считает построение Лакана неадекватным для описания туземных культур. Лакан утверждает приоритет символического над воображаемым; по наблюдениям этнолога, дело обстоит наоборот. Реальное по Лакану есть референт, который подразумевается, но не обозначается. То, что обозначено, переходит в символическое. Символическое есть сфера языка. Напротив, в регистре воображаемого субъект относится к образу себе подобного.

Годелье переопределяет лакановские регистры следующим образом: «Такие термины, как воображаемое и символическое, относятся к компонентам реальности – субъективной реальности, также и интересубъективной реальности отношений друг с другом, которые сами включены в контекст институтов, объективных имперсональных социальных отношений, которые представляют себя одновременно и областями человеческой активности, и компонентами их актов» [10, р. 162]. Годелье рассуждает так: когда кто-нибудь занимается любовью в воображении, то его воображение действует одновременно и как место для некоторых представлений, и как набор символов, которыми воображаемые символы осуществляются. Эти воображаемые символы, однако, отличаются от поцелуя, которым старшие сверстники награждают подопечных во время туземного обряда наполнения ртов соком. Поцелуи тоже символичны, но, в отличие от воображаемых символов, вполне наглядны, публичны и телесны. Они имеют значение только в объективированной сфере местной культуры, применительно к мифу о Солнце, которое снабжает людей своей жизненной силой посредством лесных деревьев. Миф же понятен в качестве идеологии мужских союзов, проводящих ритуал независимого от женщин порождения мужчин племени. Обмен поцелуями – не просто сексуальный символ, а часть реальности, в которой имеет место борьба за власть между полами.

Как антрополог, Годелье утверждает, что сфера воображаемого вычленяется из реальных отношений, которые существуют до воображаемого. Лакановская триада затемняет объективное содержание, присутствующее и в символическом и в воображаемом регистрах. По Лакану, реальное неопределимо и необъяснимо, потому что отрезано от символического и воображаемого, вытолкнуто из них. По Годелье,

брак является понимаемой реальностью и может быть объяснён вместе с окружающими его символами и образами. Последние могут порождать социальную реальность, но они не могут этого делать, не проходя через определённые фильтры этой реальности.

В очень простой социальности папуасов Новой Гвинеи отношение между полами оказываются стержнем для массы других отношений и связей – экономических, идеологических символических, бытовых и т.д., стержнем, наглядно выступающим из-под всех этих опосредованных отношений. Сексуальная медиация очень непосредственно и бесхитростно проникает в самые замысловатые и закамуфлированные, а также интимно-укромные сферы. В противовес Лакану, субъект которого иницируется воображаемым зеркальным самоотношением, Годелье утверждает примат телесной реальности, затрагивая тем самым не только Ж. Лакана, но и М. Фуко. На деле, работы Годелье демонстрируют то, что можно назвать (относясь уже к другому именитому французу – П. Бурдьё) – специфическим габитусом культуры. Последний удаётся показать в пределах универсальной основы человеческого существования – тела. Телесность и есть то Реальное, которое ищут туземцы и по Годелье, и по Лакану. Реальное и очевидно, поскольку оно вездесуще и наглядно, но оно и многосложно, потому что основывается на живых и взаимодействующих телах. Тело зрит себя индивидуальным зрением, оно не имеет иных фиксаций, кроме ускользающих телесных проявлений, его символы устные и потому также ускользающие, телесно ситуативные.

Российская культура будет посложнее папуасской. В ней реальность изображается в фиксированных символизмах идентификационной стадии письменности – в литературе, а также и в нелитературных текстах. Российский материал в целом созвучен лакановским построениям, поскольку находится в том же высоком градусе олитературенного риторизма, но производится в ином социально-политическом режиме. Лакан сквозь призму российского габитуса партикуляризуется и коллективизируется в исторических спецификациях и примерах.

«Россия – литературный эксперимент огромных размеров» (Ю.М. Лотман). Это суждение указывает на две лакановские инстанции: Реальное и Символическое, ну, а третья, очевидно, находится в мыслеобразности автора высказывания. Начну с Символического. Если принять за таковое литературу, то следует признать, что это – основание российского габитуса, как тело – папуасского. Литература России была преимущественно летописью творения и хаоса. Она показывала громадные и плохо освоенные пространства, возникновение государства и возникновение души, вещала от имени того, кто ещё не может как следует говорить. Российская литература постоянно напоминала об униженном и безгласном гиганте, о хтоническом слое, лежащем ниже членораздельного выражения. Поэтому иногда она и преобразу-

ется в род поверхности, которая не может передать того, что под ней. Реальному лакановской схеме соответствует Россия. Временами Россия присутствует как человеческая масса, вручившая литературе свой голос, как народ, а временами как территория. Территоризованный народ есть, собственно провинция. Просвещение же сгущено в точке управляющего центра, оттуда оно распространяется волнами по стране-территории. Если отношение в указанной связке преимущественно пространственное, географическое, то история разыгрывается внутри мыслительного субъекта. Российское *cogito*, как и следует Воображаемому, бинарно. Притяжение телесно-пространственной хтоники создаёт своеобразный циклизм этих отношений, где точки разрыва (они же распада) обозначают перемену ролей в паре под влиянием внезапного и катастрофического обвала реальности.

Напомню социально-историческую расшифровку указанного *pas de trois*, к которой я добавляю фрейдовскую фразеологию [6]. Я укажу на их существенные для нашей темы моменты в кратком пересказе того, что уже писал. В Новое время разнородные устремления людей умственного труда, объединённых именем «интеллигенция», сводятся в триаду ведущих социополитических сущностей «народ-интеллигенция- власть». Образцом для указанного конструкта служит сословный порядок, на фоне которого и оформляется секулярная картина социальности, в ней интеллигенция занимает место светского жречества [8]. Эта схема временами достигает апогея популярности и, казалось бы, сливается с Реальным страны.

В России европейское *cogito* попадает в очень специфический контекст. На него воздействуют исторические обстоятельства. В частности, гнёт упрощённого двухчленного схематизма «власть – подданные» (преобладает в позднемосковский период и в начале петровских преобразований, также в сталинское правление). Этот схематизм не предусматривает самоопределения и социальной автономии *cogito*. Напротив, периферическое положение России и необходимость усваивать с Запада знания способствует такому становлению. Интеллигенция возникает на пересечении горизонтального отношения «мы – они» (Россия – Запад) и вертикального – между правящей верхушкой и управляемой массой, как инстанция заимствования и осмысления иноземного культурного опыта и как посредница между властью и народом. Эти две функции развиваются параллельно, хотя первоначально роль посредника между страной и Западом преобладает в размышлениях предшественников интеллигенции.

В начальной точке нашего рассмотрения (правление Петра) политико-идеологическая структура русского общества является не триадической, как на Западе, а диадической, как в деспотиях Востока. Слабо оформленные предсословные группы населения поголовно закрепощены государством (В.О. Ключевский) с разделением на тяглых (исполняют налоговую и натуральную повинности) и служилых. Что ка-

сается духовенства, то низшее несёт тягло, архиереи служат; затем они сводятся в служилую подгруппу под управлением статского обер-прокурора Синода. Но вертикальное диадическое отношение управляющего верха (тончайший «политический класс» из царя и его окружения) и управляемого низа чревато псевдогомологией, т.е. триадой. Во-первых, начинают формироваться сословия, напоминающие западноевропейский феодализм. Этот процесс относят к правлению Екатерины II [3] или к более позднему времени [4]. Что недооценивают историки, так это разворачивание на фоне этой крайне запоздалой имитации институциональной трёхсословности другой, просвещенческой триады. Её обычно описывают под рубрикой истории общественной мысли, полагая как бы эпифеноменом более серьёзных социально-политических движений. Между тем, она является ведущей в разворачивающемся проекте современности. Двигателем параллельного развития является та внутренняя прослойка власти, которая просвещает страну по обязанности или призванию (отличить одно от другого бывает трудно). До реформы 1861г. монополия просвещения у государства, поэтому можно говорить о государственной интеллигенции, или о государстве как коллективном интеллигенте.

После реформы 1861г. вполне развёртывается вертикальная ось, на которой интеллигенция занимает срединное положение. Между 1861 и 1917 годами общественная конфигурация в России вразрез с официальным сословным порядком и в дополнение к имущественному разделению выглядит так: власть – интеллигенция – народ. Эта схема имеет хождение, потому что понятно, доходчиво объясняет расстановку социальных сил в стране и даёт значительной части населения ориентиры для самоопределения. Интеллигенция доказывает свою реальность не столько действием, сколько непрерывным потоком книг, брошюр, журналов, газет, воззваний. Проекты преобразования России, картины будущего, критика настоящего подогревают страну и держат её в напряжении; газетная полемика заменяет парламентские прения, борьба журналов – противоборство партий, романы читаются как социологические исследования и отчёты о состоянии страны. Это положение не уникально для России. Например, жизнь Франции перед революцией 1789–1794 гг., наполненная памфлетами, брошюрами, трактатами, обращениями к народу, журнальными скандалами, с томами Энциклопедии в качестве общественных событий, с некоронованным властителем дум и защитником обиженных Вольтером столь же плохо укладывалась в официальный сословный порядок, как и в России 1861–1917 гг. Как, впрочем, и в предреволюционной Англии XVII в. с тучей сектантских листовок и памфлетов, и в реформационной Германии веком ранее с печатной Библией и антипапскими прокламациями. В каждом случае вокруг печатного станка мы находим людей, похожих на русских интеллигентов. Иногда они берутся за устройство конспиративных групп и восстаний. Но преимущественно

они заняты более мирным делом – критикуют общественные пороки и рассказывают о совершенной жизни, которая могла бы установиться после их устранения. Изобретение Гуттенберга создаёт переизбыток критических и эсхатологических идей, к исполнению которых, как правило, интеллигенция не имеет склонности и неспособна. Её историческое назначение оказывается в том, чтобы создать указанную критическую массу, а также навыки для проживания воображаемых ситуаций в качестве осуществимых и реальных, использовать механизм художественной условности для эсхатологизации массового сознания. Многие признаки литературной деятельности (в широком значении слова) входят в её ментальный склад и определяют общественные функции. В частности, и представить интеллигентское братство можно только в пространстве художественного воображения, в качестве людей объединённых смысловыми и персонажными связями, с утрированно-условными признаками литературных героев. Другие социальные группы, хотя и подвергаются художественной типизации, но всё-таки существуют вполне реально в качестве рабочего, крестьянина, бизнесмена и т.д. Если же мы извлечём интеллигента из кокона литературно-исторических ассоциаций, то превратим его в студента, служащего, врача, учителя и т.д.

Свои жреческие претензии и амбивалентную многозначительность интеллигенция удерживает, пока её параллельный проект просвещения сохраняет вид плана реальных преобразований и пока имеется инфраструктура для его трансляции.

Виток истории после 1917 г. упрощает опасно удвоившуюся и фантомизированную структуру российского общества. Можно говорить о возврате к диадической конфигурации петровского правления. Разбухшая литературно-полемическая прослойка берется под государственный контроль и частично ликвидируется. Небольшая часть интеллигенции перебирается во власть, но большинство её обречено на растворение в народе, т.е. в управляемой массе.

Однако перед нами не простое повторение петровского начала. *Cogito* упрощается социально, но исторический механизм его регенерации сохраняется в виде символической основы (русской литературы) и навыков имагинации – олитературивания жизни. Эта ментальная подоснова общества снова востребована на перестроечном витке социополитического цикла. Конфигурация общества между 1985 и 1991 годами быстро уподобляется предреволюционному десятилетию. Вместе с лавиной критики, прожектов, массой книг, журнальным бумом между властным верхом и управляемым низом снова разрастается литературно-полемическая прослойка с просветительским курсом западной демократии и проектом капиталистического будущего. Эта триада опять подвергается частичной редукции к двучленной схеме в постсоветское пятнадцатилетие по мере того, как власть берет под контроль информационную инфраструктуру в которой циркулирует «поле-

мическая формация». Переход к следующему политическому циклу облегчается тем, что письменный субстрат интеллигенции сокращается и сохнет в цифровой цивилизации XXI в.

Неврозы мобилизации

У российского субъекта нет вербальной непринужденности путешественника по пещере языка-бессознательного. Скорее, он напоминает гофмановского человечка внутри механического устройства – автомата. Человек играет на инструменте из упомянутых психических регистров, корчась от толчков, идущих извне. Я сохраняю за внутренним исполнителем партии социально-политическое название «интеллигенция». Однако, исходя из российского опыта, следует внести поправки в партитуру. У Лакана Реальное (как и другие инстанции) существуют в диалектике записи. Невозможность установить точное значение записи делают Реальное отсутствием, о которое разбиваются попытки символизации, и это создаёт психическую травму. «Если попытаться определить Реальное в отношении к написанному ... мы должны будем, конечно, первым делом констатировать, что Реальное не может быть записано ... Однако в то же самое время Реальное как таковое – это то, что написано, и этим оно отличается от означающего; лакановское *écrit* обладает статусом объекта, а не означающего» [2, с. 173–174]. Лакановскому индивидуальному субъекту неведома Реальность, о которой он пишет. Российскому также, но его Реальность не индивидуальна, поскольку и он не индивидуальный, а социальный субъект. Его Реальность называется Россией, а русское *écrit* имеет почти сакральный статус русской литературы, русской философии, русской идеи и других изъятий национального духа.

Подчеркну, что в моей трактовке реальность «Россия» является интеллигентским *écrit*, исполняемым на регистре из символических средств и внутри воображаемого отношения. Лакановское *s*-другим индивидуально, оно с собой, т.е. со своим отщепленным зеркальным отражением. Русское Воображаемое, как и Реальное, и Символическое, не может быть индивидуальным. Оно интроецируется из социально значимых фигур Других, из Власти и Народа, превращая субъекта в интроект.

Работу по созданию неуловимо реальной России можно считать императивной в том смысле, что она происходит не так комфортно, как в Париже. Подчеркну отличие моих представлений от лакано-гегельянства С. Жижека, который знакомился с оригинальными обязанностями социалистической интеллигенции в качестве гражданина титовской Югославии. Он знает, что «тоталитарная власть – это не тупой догматизм, у которого на все есть ответы; это, напротив, такая инстанция, у которой всегда вопросы» [2, с. 177]. У мыслящего субъекта непрерывно требуют ответов о том, что

якобы очевидно, а на самом деле никому не известно. Ему надо быть обязательно свободным, думать творчески, но при этом точно «как надо». Словенский профессор подкрепляет Лакана серией домашних анекдотов, например, о призывнике, который вытребовал бумагу, подтверждающую, что он обязан приносить присягу строго добровольно. Конечно, такое положение едва ли можно назвать комфортным, и следует согласиться с мнением автора, что статус такого субъекта есть статус истерический. В России стресс усугублен тем, что с определенного времени интеллигенция должна выступать в некоем мистическом предназначении – чтобы Россия существовала. Эту демиургически-онтологическую роль она разделяет с властью, но не надо забывать, что, если пользоваться лакановской терминологией, власть – это и есть зеркальный Другой интеллигенции, её Воображаемое. Императивы, формулируемые этой парой (больше формулировать некому) в виде задач страны, могут называться спасением Отчизны, восстановлением её величия, преодолением отсталости, реформами, dogoняющим развитием и т.д. Во всех случаях они экстренны и сопровождаются «проклятыми вопросами», на которые надо незамедлительно ответить ради существования России. Приложение рафинированной психотерапевтической схемы к социальной проблематике может показаться игрой в парадоксы, но я пытался показать, что за лаканизацией известных фигур российского прошлого и настоящего стоят известное историческое содержание, т.е. процессы, протекающее в реальном времени.

Императивы мобилизации

Позволю себе сослаться на раздел «Революция как ментальная транспозиция» в моей книге «Искусство экономной смерти» [7]. Она о том, что в революциях Нового времени схватка за управление народом разворачивается между властвующей бюрократией и революционерами из интеллигентов, которые на ходу дела преобразуются в новый политический класс. Интеллигенция, как это ни режет уши представителям мыслящей прослойки, есть пережиток переходных эпох. Во всяком случае, в том политизированной разновидности, которая приобрела классические формы в России. Это теневой политический класс, и в нём потенциально ходит вся образованная публика. Т.е. образованная публика – это потенциальный средний класс современного общества или несостоявшееся духовное сословие (квази-сословие), а интеллигенция – это прошедшие культурно-идеологический отбор члены теневого политического класса. Народом же называется преимущественно патриархальное крестьянство вместе с городскими низами, т.е. вчерашними крестьянами, недоусвоившими урбанистический образ жизни. Первые поколения пролетариата мечтают о возврате из мастерских и цехов к личному хозяйству. Для

сезонного, непостоянного, некадрового рабочего весь технологический порядок с машинами и трудом от гудка до гудка есть кража его жизни. Освобождение от промышленного рабства означает возврат его к сезонным ритмам аграрных работ и патриархального существования. Его революция есть реванш цивилизационного подполья на городских площадях перед восстановлением золотого прошлого. Однако революционные вожди не расположены потакать народному руссоизму.

Трёхчленный схематизм помогает перехватывать власть от государственно-бюрократической фракции просвещенчества к оппозиционной. В критический момент рокировки он продолжает управлять массой. Хотя слова, законы и лозунги меняются, но трехчастный социокосмос остаётся. Народ знает, что его стихийный разлив небеспределен, что вслед за волей опять приходит пора заучивать слова и законы от новых просветителей, которые прежде были в загоне, а теперь во власти. Революция совершает транспозицию, переставляет местами альтернативные элементы письменного двучлена, интеллигенцию и бюрократию, однако объект управления остаётся.

Масса хоть и движущая сила революций, но не руководящая. Ей не хватает грамотности. Артикулировать её витальность берутся традиционные и новоявленные грамотеи. Просвещение народа – лейтмотив любой письменной цивилизации. В политических катаклизмах образование массы резко ускоряется и сливается с организацией её вышедшей из берегов энергии.

Итак, классические революции производят перераспределение в связке знание-власть между двумя ветвями просвещения: интеллигенцией и бюрократией. Третий персонаж политического катаклизма – народ – нависает над схваткой в качестве движущей, но отнюдь не руководящей силой. Овладеть энергией потревоженного гиганта, канализовать его непредсказуемые и страшные шевеления в нужных направлениях – вот вопрос вопросов революции. Игра эта крайне опасна, потому что неудачно разбуженный народ за считанные недели и месяцы доводит благоустроенное просвещенческое общество до полного хаоса. Успех зависит от метаморфозы революционного руководства, от перековки части старой интеллигенции в новую бюрократию. Однако как бы стремительно ни занимали бывшие оппозиционеры оставленные прежними хозяевами кабинеты, пауза междуцарствия неизбежна. Она связана с переналадкой дискурсивной инфраструктуры управления, с инерцией центробежного письменно-административного распространения власти. Даже быстрый переворот в центре не гарантирует от неприятных явлений на местах. В реальном историческом времени издержки переворота почти всегда связаны с массой инерции, которая называется провинцией. Большую территорию трудно поджечь, но трудно и загасить. Причем, укрощение хаоса происходит не только свинцом, но и ливнем декретов, директив, инструкций, разъяснений, листо-

вок, брошюр и других материалов, т.е. дискурсивно-символической переналадкой рычагов управления. Для новых бюрократов, по большей части рекрутированных из интеллигентов и полуинтеллигентов, эта задача является военно-административной, для той же части коллективного мыслящего субъекта, который не попал на практическую революционную работу или вообще остался вне власти, но при своих умственных занятиях, актуальным остаётся определение страны как Реального, что, соответственно моменту, происходит в экстренном режиме. Необходимость разобраться в том, что происходит и найти выход из катастрофы мобилизует мыслительные навыки, прибывающие в перманентном неврозе вечных вопросов. В то же время часть интеллигентских навыков переходит в уже сугубо технический регистр социальной мобилизации. Выковывание из стихийной массы организованных участников борьбы – главный лейтмотив партийной литературы. Усилиями целой армии идеологических доктринеров и надсмотрщиков всяких рангов и специальностей в СССР 1920–1930х гг. сплетена сплошная сеть политико-идеологической дисциплины. Люди передвигаются по жестко субординированным позициям, как в армии. Внутренняя дисциплина обосновывается дополнительным кодом «свой – враг». Постоянная мобилизованность требует дискурса революционного насилия. Он одновременно технический и эстетический, происходит из литературы и казармы. Как литература он пишется, издаётся и прочитывается в виде текстов и печатной продукции, как дисциплинарная практика – работает на организацию бдительности и готовности. В массовой культуре созревшего тоталитаризма очень велика доля проработочных материалов, предназначенных для обязательных чтот, просмотров, коллективных обсуждений, цитирований, заучиваний. Это касается не только партийных документов, трудов вождей, но и отобранного круга художественных произведений. Распространение таких вещей нельзя оставить на самотёк. Их социокультурный цикл далёк от привычной спонтанности эстетических и познавательных предпочтений. Он строится по жесткому дисциплинарному регламенту. Материал отбирается или подготавливается специальными ведомствами, одобряется наверху, затем спускается вниз для определённого планового охвата населения. В итогах кампании руководящие органы оценивают идеологическое содержание и организационный эффект сплочения массы. Однако при жёсткой субординации таких действий требуется ещё и встречное движение снизу, род правильной, контролируемой самоорганизации. При её отсутствии возникает порок заорганизованности, не менее порицаемый, чем самотёк. Наибольшее слияние идейности и организации даёт употребление двоичного кода – ритуалы чистот, разоблачений, осуждений, проклятий и клятв верности. В них заготовленные тексты оживлены жестами участвующего, организованного насилия. Хотя на митингах осуждения предателей, вредителей, отщепенцев, империалистов и т.д., на

просмотрах революционных фильмов и читках революционных книг враги и не подвергаются уничтожению в буквальном значении слова, коллективная борьба и расправа налицо. Партия хранит оружие на боевом взводе, держит кадры наготове, потому что «кадры решают всё». В послесталинский период этот код уже избыточен и для внешнего, и для внутреннего пользования. Он имитируется равнодушными чиновниками. Сегмент культуры революционного насилия подпитывается из третьего мира, однако на своей родине, в Европе, он сужается и блекнет. Упадок вызван мирным сосуществованием двух военно-политических блоков и приходом на смену текстам насилия триллерного зрелища. Нынешняя глава европейской эмансипации – уже про ненасилие, и притом, экранное.

Революция, как и война, это предельные случаи мобилизационной императивности. Есть ещё общественно-политические кампании, почины, движения, производственные штурмы и другие случаи мирной мобилизации. Не подвергая сомнению их реальность в привычном значении, обращаю внимание на символику указанных действий, исходящих от субъекта, строящего таким образом страну-реальность в лакановском понимании. Этот двойственный просветительский субъект, соподчиняющий две части своего образа в бинарном воображаемом, приходит на смену более стихийным порядкам досовременности.

Провинция остаётся моментом инерции как в социальной географии страны, так и в экономике её коллективного бессознательного. Её неповоротливая масса торозит череду дискурсивных изъявлений, фабрикуемых коллективным умственным субъектом. К вящей досаде реформаторов, просветителей, революционеров в ней гаснет самая бешеная энергия преобразования. Но тем самым фантазмы, фабрикуемые вопросно-ответной машиной, лишены возможности сбываться с кошмарной быстротой.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Автономова Н.С.* Лакан: возрождение или конец психоанализа? / Бессознательное. Природа, функции. Методы исследования: в 4-х тт. – Т. 4 / пер. с фр. – Тбилиси, 1985.
2. *Жижек С.* Возвышенный объект идеологии. – М., 1999.
3. *Леонтович В.В.* История либерализма в России (1762–1914). – Париж, 1980.
4. *Мионов Б.Н.* Социальная история Россия периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2-х тт. / Изд. 2-е испр. – Т. 1. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2000.
5. *Шкуратов В.А.* Интеллигенция между организацией и самоопределением / Организационно-управленческая психология. Проблемы и перспективы. – Ростов н/Д., 1990.

6. *Шкуратов В.А.* Интеллигенция в проекте современности // Логос. – 2005. – № 6.
7. *Шкуратов В.А.* Искусство экономной смерти (сотворение видеомира). – Ростов н/Д., 2006.
8. *Шкуратов В.А.* Между туземцами и элитой: баланс эндогенности и экзогенности в российской политической идентичности. Ч. I. // Политическая концептология. – 2015. – № 2. – С. 191–202.
9. *Bowie M.* Freud, Proust and Lacan. Theory as fiction. – Cambridge: Camb. Univ. press, 1987.
10. *Godelier M.* What is a sexual act? // Anthropological Theory. – 2003. – Vol. 3 (2). – P. 179–198.
11. *Lacan J.* Ecrits: A Selection. – Paris, 1966.